



В. В. ВЕЙДЛЕ

О поэзии Тютчева

Тютчев для нас теперь один из величайших русских поэтов, быть может, величайший после Пушкина. Такое отношение к нему установилось, однако, лишь сравнительно недавно, в начале нашего века. Современниками он был понят плохо; ценили они его недостаточно.

Это объясняется двумя причинами: во-первых, Тютчев много пережил эпоху, когда поэзия была на первом плане, т. е. пушкинскую эпоху, а во-вторых, его считали беллетристом, светским человеком, на досуге пописывающим стихи, и притом политические стихи: лирические читались совсем мало.

Даже те, кто любили его стихи, не уделяли ему большого места в русской литературе; да он и сам на него никаких претензий не заявлял. Был он «поэтом для поэтов». И остался бы им, если бы не новый расцвет русской поэзии, который теперь отошел в прошлое. Литературная судьба его, как видим, была весьма особенной судьбой.

Нам и сейчас представляется, что Тютчев — поэт пятидесятих, шестидесятых годов, хотя в сущности он поэт пушкинской поры; он был всего на четыре года моложе Пушкина, на три моложе Баратынского и принадлежал к до-лермонтовскому поколению; он был старше Лермонтова на 11 лет. Его друзьями были Вяземский, Жуковский, и когда первый сборник его стихов (и единственный, выпущенный им при жизни) вышел в свет в 1854 г., автор их казался выходцем из другого мира, давно уже отодвинутого назад новыми интересами, потребностями и вкусами.

Самого Тютчева литературная судьба его стихов заботила очень мало. Литератором он вообще ни в какой мере не был. Недаром и писал он на русском только стихи; немногочислен-

ные статьи его (всегда на политические темы), как и огромное большинство писем, написаны по-французски. Да и стихи не столько он создавал, сколько они создавались в нем. Он никогда о них не говорил, не придавал им, казалось, никакого вне личного значения.

Известен рассказ его дочери¹ о том, как он ехал в ней на извозчике под проливным дождем из одного конца Петербурга в другой, молчал всю дорогу, а когда приехали, проронил невзначай: «J'ai fait quelques rimes» *. То были «Слезы людские, о слезы людские...».

В более ранние годы, живя в Мюнхене, он дал приятелю князю Горчакову связку стихотворений, которые были привезены в Петербург и показаны Жуковскому, Вяземскому и Пушкину. Пушкин напечатал в «Современнике» сразу 16 из них под заглавием «Стихотворения, присланные из Германии» и с подписью *Ф. Т.*

В течение 20 лет имя этого *Ф. Т.* было известно только в самом узком писательском кругу. Даже и вернувшись в Россию, Тютчев литературному миру остался чужд. Ничего не изменила в этом и справедливая оценка, данная его стихам Некрасовым в 1850 г. Четыре года спустя его сборник появился без всякого участия автора, причем некоторые из его замечательнейших стихотворений, как «Silentium», были «проредактированы» Тургеневым², т. е. переделаны в согласии с школьными правилами стихосложения, но наперекор их подлинной ритмической структуре. Тютчев отнесся к этому по-видимому с полным безразличием, и позже только один раз протестовал против искажения в печати своих стихов, но по соображениям не литературным, а личного, биографического характера.

Если судить по его переписке, то он вообще литературой — по крайней мере во вторую половину жизни — интересовался очень мало. Основным интересом его была политика, внешняя политика европейских государств. И очень вероятно, что он сам придавал своим политическим стихам значение не меньшее, а может быть, и большее, чем лирическим.

Конечно, Тютчев ощущал себя поэтом и работал, даже с большим упорством, над своими стихами; но поэзия для него была чем-то одновременно очень личным и вполне стихийным, призванием, но не профессией, чем-то совсем не похожим на обычную человеческую упорядочивающую и благоустрояющую деятельность. В этом отношении, будучи поэтом пушкинского

* Я сложил несколько стихов (фр.). — *Ред.*

поколения, он тем не менее резче всего противопоставляется именно Пушкину.

Пушкин полагал фундамент, воздвигал здание литературы, ощущал свою ответственность перед русской поэзией, русской культурой, Россией, и оттого основывал журнал, принимал участие в литературных группировках, вел определенную литературную линию. Тютчеву все это было глубоко чуждо. И в этом обнаруживаются некоторые из самых характерных черт и его человеческой личности, и его поэтического гения.

Есть два типа поэтов. Есть поэты-строители, как Пушкин или Гете, Данте, Вергилий. И есть поэты — только поэты. Из величайших гениев человечества ко второму типу относится Шекспир. В его творчестве нельзя усмотреть никакого сознательного строительного намерения, никакого желания противопоставить себя такому-то прошлому, приготовить такое-то будущее, занять ту или иную позицию по отношению к происходящему вокруг. И литературная судьба его драм также, по-видимому, Шекспира не интересовала (в отличие от театрального успеха, который был для него важен в чисто практическом отношении). Мы не замечаем, чтобы он руководил своим творчеством во имя чего-то, что уже не само творчество. О Шекспире-человеке, мы, впрочем, ничего или почти ничего не знаем; об его отношении к своим творениям судим лишь по самим же этим творениям, да еще по явному отсутствию заботы об их печатном тексте. Но есть другой английский поэт сходного творческого склада, который оставил нам драгоценнейшие прямые свидетельства о своем понимании своего творчества и самого себя.

Поэт этот — рано умерший современник Пушкина и Тютчева Китс. Среди замечательных его писем есть два (одно от 22 ноября 1817 г., другое от 27 октября 1818 г.), где мы находим исключительной глубины — хотя и немного неуверенно выраженные — прозрения, касающиеся душевного устройства поэтов такого типа, как Шекспир, Тютчев, как он сам. (Литературная заинтересованность у Китса, впрочем, есть, но лучшее в его поэзии не находится с ней ни в какой связи.)

В первом письме он разделяет великих людей на две категории: Men of Genius, людей гения, и Men of Power, людей власти, причем только вторые обладают, по его словам, настоящей личностью или собственным «я» (a proper self), первые же никаким характером или индивидуальностью не обладают и действуют лишь подобно некоему химическому реактиву (as certain ethereal chemicals, operating the mass of neutral intellect). Во втором письме он называет поэта самым непоэтическим су-

ществом на свете, оттого что он лишен всякого настоящего признака, всякого тождества самому себе, и, переходя затем к непосредственному самоанализу, утверждает, что ни одно слово, высказанное им, не может считаться подлинным его мнением, вырастающим из постоянного его облика, из постоянной его природы (*growing out of my identical nature*), потому что у него как раз и нет такой природы. Он прибавляет, что, находясь в обществе других людей и даже в обществе детей, он до такой степени испытывает их воздействие или отождествляется с их личностью, что в короткое время как бы уничтожается сам, то есть, сказали бы мы, перестает ощущать «я», растворяет в чужой свою собственную личность³.

У Тютчева мы находим в менее развитой, чуждой всяких обобщений форме, весьма сходные признаки. Он пишет жене о себе в 1851 г., по случайному поводу: «Вот в чем несчастье быть так вполне лишенным личности». В 1864 г., после смерти Е. А. Денисьевой, он пишет Георгиевскому: «Только при ней и для нее я был личностью, только в ее любви <...> я сознавал себя». И наконец, в 1867 году Богдановой: «...grâce à ma personnalité peu énergique et peu persistante il me semble qu'il n'y a rien de plus naturel que de me perdre de vue» *, слова, напоминающие написанный три года спустя стих:

Безлюдно все, и так легко не быть, —

и французские стихи, гораздо более ранние (1842 года):

Que l'homme est peu réel, qu'aisément il s'efface!
Présent, si peu de chose, et rien quand il est loin
Sa présence, ce n'est qu'un point —
Et son absence — tout l'espace⁴.

В поэзии обобщается, относится к человеку вообще, то, что в письмах относилось лишь к самому Тютчеву.

«Безличен» — это, конечно, не совсем то слово. Для всех его знавших и для нас, читающих его, Тютчев обладал весьма определенно очерченной, очень особенной, ни с кем не смешиваемой личностью. Но в свете писем Китса тютчевские признания получают свой настоящий смысл. Быть «вполне лишенным личности» означает только не ощущать с достаточной силой своего собственного *я*, не то чтобы постоянных очертаний, а постоян-

* Что касается моей неповоротливой, невосприимчивой персоны, мне кажется, что нет ничего более естественного, чем оставить меня и не замечать (*фр.*). — *Ред.*

ного стержня своей личности. По терминологии английского поэта, Тютчев был, как и он сам, не «человеком власти», а «человеком гения». Однако терминология эта не только словесно не особенно удачна. Она и по существу ошибочна, так как «люди власти» в китсовском смысле встречаются и среди поэтов. Причем даже и гораздо чаще, чем беспримесные «люди гения». Но что у Китса с удивительной пронизательностью усмотрено, это связь известного рода структуры личности с известного рода структурой творчества. И никакое другое наблюдение не способно ввести нас так глубоко в понимание и личности, и творчества нашего собственного великого поэта.

С ощущением зыбкости, неустойчивости, потерянности своего «я» связаны у Тютчева такие личные его черты, как постоянно проглядывающаяся в переписке с женой боязнь беспредельности русских пространств, или как столь же постоянная боязнь зимней стужи. Это не просто физическая зябкость, это переживание некоего растворения в холоде, утраты в нем своего жизненного ядра (подобно его потере в русских просторах). Богдановой он пишет (апрель 1867 г.): «...le froid est comme un abime où notre pauvre individu se sont englouti et anéant» *. Отсюда же и постоянная потребность его в обществе, не для того, чтобы в нем «играть роль», а чтобы чувствовать себя окруженным, согретым, подкрепленным в собственном бытии.

«Мне необходимо прежде всего общество и знакомые и любимые лица» (23 июня 1862 г.). Во время последней болезни, очнувшись от долгого забытья, он сказал, обращаясь к окружавшим его близким: «Faites un peu de vie autour de moi» **. Но эта чужая жизнь, не только перед смертью, она и всегда была ему нужна, — острее, чем обычно, насущней, чем она бывает нужна людям другого душевного устройства. Недаром и любовь переживается Тютчевым — это быть может основной мотив его жизни — не как *его* любовь, а как любовь *к нему*. И уже в раннем стихотворении: «Не верь, не верь поэту, дева», это он *о себе* сказал:

Он не змеєю сердце жалит,
Но как пчела его сосет.

При таком устройстве личности неудивительно, что в поэзии Тютчев ни в какой мере не строитель, не деятель и в этом смыс-

* холод такой ужасный, что моя бедная личность лязгает зубами (фр.). — *Ред.*

** Пусть будет немного жизни вокруг меня (фр.). — *Ред.*

ле не писатель, а поэт и только поэт. Лирика его медиумична. Стихотворение не строится по смысловому стержню, а рождается само собой и притом не столько из «переживания» (в обычном, так сказать, автобиографическом смысле слова, как у Гёте, например), а из созерцания, из пассивного вбирания в себя мира. Зародыш тут не факт, не событие, а образ, метафизически расширяющийся в целое стихотворение («Безумие», быть может, тому особенно разительный пример).

Не раз отмечавшийся риторизм тютчевского стиля, — только внешняя оболочка, служащая прежде всего интонационным и ритмическим целям. Пантеистическое же (выражаясь упрощенно) содержание его поэзии должно в свою очередь объясняться не влиянием Шеллинга или Баадера, а внутренней необходимостью, требованием, вытекающим из самого устройства его гения. Космическое целое, природа, мировая душа как бы служат Тютчеву его поэтическим «я»; он вместо себя — или за отсутствием себя — проецирует их в свою поэзию. Созерцанием уловленные космические образы сами расширяются, сочетаются, воплощаются в живое слово. Поэту остается как бы извиняться пробормотать: «J'ai fait quelques rimes».

Но такова только (за немногочисленными исключениями) тютчевская поэзия первого, мюнхенского периода. Во втором, петербургском, образно-метафизически ее природа перерождается в более непосредственно-лирическую, но поэт и тут остается верен себе, потому что лирика эта не столько от своего имени, сколько от чужого и тема этих гениальных стихов, единственная в своем роде во всей мировой поэзии, не столько любовь Тютчева к Елене Александровне Денисьевой, сколько ее любовь к нему. Недаром писал он: «Только в ее любви я сознавал себя»; он и поэтом любви стал только через ее любовь, как бы заменив себя ею, так что функцию, исполнявшуюся прежде космосом или мировой душой, стала исполнять душа Елены Александровны. И даже там, где он говорит непосредственно от себя, как в «Последней любви», быть может, самом богатом внутренней музыкой стихотворении из всех написанных на русском языке, поэзия его остается медиумической, в известном смысле безличной, такой поэзией, которая не столько выражает поэта, сколько выражается сквозь него, как бы даже помимо него, хотя, конечно, и не без участия того, что мы называем его гением.

